**Награжденный пятнадцатого августа**

Альфонс Доде

Однажды вечером в Алжире, после дневной охоты, сильная гроза застигла меня в долине реки Шелиф, в нескольких лье от Орлеанвиля. Кругом — насколько хватал глаз — не было видно ни деревьев, ни караван-сарая. Одни лишь карликовые пальмы, чащи мастиковых деревьев да обширные, протянувшиеся до самого горизонта пашни. К тому же, Шелиф, вздувшийся после ливня, начал тревожно бурлить и разливаться, и я рисковал провести ночь посреди топкого болота. К счастью, сопровождавший меня гражданский переводчик из Милианаха вспомнил, что совсем близко отсюда, скрытое в холмистой местности, ютится одно из арабских племен. Переводчик хорошо знал вождя этого племени агу Си-Слимана, и мы решили просить у него гостеприимства.

Арабские деревни, раскинутые в этой долине, так укромно скрыты среди кактусов и африканских фиговых деревьев, их низкие хижины так прижаты к земле, что мы очутились в центре дуара, сами того не заметив. То ли из-за позднего времени, то ли из-за непогоды, но там царила мертвая тишина. Вся местность показалась мне печальной и подавленной, как бы томящейся под тяжестью какой-то тревоги; казалось, здесь замерла всякая жизнь. На всем — печать запустения. Пшеница и ячмень, повсюду уже убранные, здесь лежали на полях, примятые дождем и ветром, и гнили на корню. Брошенные плуги и бороны ржавели под дождем. На всем чувствовался отпечаток тоскливой апатии и тупого равнодушия. Собаки — и те еле залаяли при нашем приближении. По временам из отдаленной хижины доносился детский плач, и в чаще мелькала стриженная голова мальчугана или дырявый аик старика. Кое-где под кустами дрогли от холода ослики. Но нигде — ни лошади, ни взрослого мужчины, как будто во времена опустошительных войн, когда всадники, покидая родные места, уходили на долгие месяцы...

Дом аги — длинное белое здание без окон — казался не более оживленным и обитаемым, чем все остальные дома. Конюшни были открыты настежь, стойла и ясли — пусты, и не было даже конюха, который принял бы наших лошадей.

— Пойдемте заглянем в мавританскую кофейню, — сказал мой спутник.

То, что обычно называют мавританской кофейней, это — гостиная в арабском поместье, предназначенная для приема приезжих гостей. Это — как бы отдельный дом в доме араба, где правоверные мусульмане, такие любезные и учтивые, находят возможность проявить свое природное радушие, оказывая всем гостеприимство и скрывая при этом от постороннего взора тайны своей замкнутой семейной жизни, как им повелевает закон. Кофейня аги Си-Слимана была открыта и безмолвна, как и его конюшни. Высокие, выбеленные известью стены, военные трофеи, перья страуса, широкие низкие диваны вдоль стен зала — все это мокло под струями ливня, которые неистовый порыв ветра швырял прямо в открытую дверь. В кофейне, однако, были люди. Во-первых, служитель — старый кабил. Одетый в лохмотья, он сидел на корточках у потухшей жаровни, низко склонив голову. Затем сын аги — красивый болезненный мальчик; закутанный в черный бурнус, бледный и лихорадящий, лежал он на диване, и две большие борзые собаки тихо лежали у его ног.

Когда мы вошли, никто не шелохнулся; только одна из собак еле пошевелила головой, а мальчик удостоил нас томным взглядом своих прекрасных черных глаз.

— А Си-Слиман где? — спросил мой переводчик.

Старик, подняв голову, сделал какой-то неопределенный жест, указывая на горизонт... Далеко, очень далеко... Мы поняли, что Си-Слиман уехал в далекое путешествие; но так как из-за дождя мы не могли продолжать наш путь, переводчик, обратившись к сыну аги, сказал, что мы — друзья его отца и просим дать нам приют до утра. Несмотря на изнуряющую его болезнь, мальчик тотчас же встал, отдал служителю какие-то приказания; затем с учтивым видом, указывая на диван и словно говоря: «Вы — мои гости», он изысканно поклонился, как обычно кланяются арабы — нагнув голову и целуя кончики пальцев, — и, зябко кутаясь в бурнус, вышел из комнаты с таким достоинством, как если бы он сам был вождем племени и хозяином дома.

После его ухода служитель снова разжег жаровню, поставил на нее два крошечных чайника, и пока он готовил кофе, нам удалось выведать у него некоторые подробности о длительном путешествии его господина и о причине странного запустения, в которое погрузилось все вокруг. Жестикулируя, как старуха, кабил говорил на красивом гортанном языке, то стремительно, то прерывая свою речь долги молчанием, во время которого мы прислушивались к шуму дождя, крупными каплями падавшего на мозаичные плиты внутренних двориков, к шипению закипавших чайников и к вою шакалов, во множестве бродивших по долине.

Вот что случилось с несчастным Си-Слиманом.

Четыре месяца тому назад, в день пятнадцатого августа, он наконец получил пресловутый орден Почетного Легиона, которого его так долго заставили дожидаться. В этой провинции он был единственным вождем племени, еще не имевшим ордена. Все остальные давно уже были награждены и имели чин офицера французской армии; двое или трое из них удостоились даже широкой ленты командора, которую они носили на своем аике и в простоте душевной употребляли вместо носового платка, что мне довелось неоднократно наблюдать у Бах-ага-Буалема. Причина, по которой Си-Слиману не удавалось получить орден, объяснялась давнишней ссорой, происшедшей у него за карточным столом с начальником арабской канцелярии. А приятельские отношения среди представителей военного управления в Алжире имеют такую могущественную силу, что, хотя в течение десяти лет имя Си-Слимана значилось в списках лиц, представляемых к награде, каждый раз его обходили. Поэтому можно себе представить радость почтенного Си-Слимана, когда утром пятнадцатого августа посланный из Орлеанвиля спаги привез ему маленький позолоченный ларец и диплом ордена Почетного Легиона и когда Байя, самая любимая из его четырех жен, прикрепила французский крест к его бурнусу из верблюжьей шерсти. Событие это вызвало во всем племени всеобщую радость и веселье. Бесконечные пиры чередовались с джигитовками. Звуки тамбурина и тростниковых дудочек раздавались всю ночь. Были и танцы и бенгальские огни; закололи бесчисленное множество баранов. И чтобы увенчать праздник, знаменитый поэт из Джанделя сочинил в честь Си-Слимана превосходную кантату, которая начиналась словами:

Ветер, запряги своих коней,

Чтобы разнести повсюду эту радостную весть...

На следующий день на рассвете Си-Слиман созвал под ружье весь свой гум и во главе конницы отправился в город поблагодарить губернатора Алжира. Согласно обычаю, конница осталась ждать у ворот города; ага один явился в губернаторский дворец, был принят герцогом Пелисье и выразил ему свою преданность Франции в нескольких торжественных фразах того восточного стиля, который слывет образным, потому что в продолжение трех тысяч лет все юноши в нем сравниваются с пальмами, а все девушки — с газелями. Затем, выполнив этот долг, Си-Слиман отправился в верхнюю часть города, чтобы все его увидели в полном блеске. По пути он помолился в мечети, одарил нищих деньгами, зашел к цирюльнику, к золотошвеям, накупил для своих жен духов, пестрых шелковых тканей в цветах, вышитых золотом голубых безрукавок и даже красные кавалерийские сапожки для своего юного аги. Он платил за все это не торгуясь, расточая свою радость полноценной, звонкой монетой. Потом его видели на базарах, где он сидел на турецких коврах с чашкой кофе, у лавок арабских торговцев, которые поздравляли его с наградой. Вокруг толпились любопытные, говоря: «Посмотрите, вот Си-Слиман, имберадор прислал ему крест». А молодые мавританки, возвращаясь с купания и лакомясь сладкими пирожками, бросали из-под белого покрывала долгий взгляд восхищения на его серебряный крест. Ах, в жизни все-таки бывают прекрасные минуты!..

С наступлением сумерек Си-Слиман стал собираться в обратный путь. Но едва он занес ногу в стремя, как посланный из префектуры верховой подскочил к нему, запыхавшись:

— Вот ты где, Си-Слиман! А я везде ищу тебя... Идем скорее, губернатор хочет говорить с тобой!

Си-Слиман последовал за ним, не испытывая ни малейшей тревоги. Однако, проходя по парадному двору мавританского дворца, он столкнулся со своим давнишним врагом, начальником арабской канцелярии, который прошел мимо с ехидной усмешкой. Эта усмешка врага не на шутку испугала бедного Си-Слимана, и он, дрожа от страха, вошел в гостиную губернатора. Маршал встретил его, сидя верхом на стуле.

— Си-Слиман, — произнес он обычным для него грубым и гнусавым голосом, который приводил всех в трепет, — Си-Слиман, дружок мой, мне очень жаль... произошла ошибка... Это не тебя наградили, а каида из племени зуг-зуг... Надо вернуть крест.

Красивое бронзовое лицо аги зарделось, как если бы он приблизился к пылающему горну. Судорога пробежала по его могучему телу. Глаза загорелись... Но это была только минутная вспышка. Овладев собой, он опустил глаза и низко поклонился губернатору

— Ты наш повелитель, господин мой! — сказал он и, сорвав с груди крест, положил его на стол. Руки его дрожали, на длинных ресницах показались слезы. Старик Пелисье был тронут его горем.

— Ну, ну, полно, милый мой, получишь в следующем году, — сказал он, с нарочитым добродушием протягивая Си-Слиману руку.

Ага сделал вид, что не заметил протянутой руки, молча поклонился и вышел. Хорошо зная цену обещаниям маршала, он почувствовал себя навеки опозоренным этими канцелярскими кознями.

Весть о такой немилости уже распространилась по всему городу. Евреи с улицы Баб-Азун хихикали, провожая его взглядом, арабские же торговцы при встрече с ним отворачивались с видом сожаления. И это сострадание причиняло ему больше горя, чем насмешки. Он шел по городу, крадучись вдоль стен, выбирая самые глухие переулки. Место на груди, где только что был крест, жгло его, как открытая рана.

«Что скажут мои воины? Что скажут мои жены?» — неотступно думал он.

При этой мысли его охватил порыв злобы. Жестокие планы мести зарождались в его голове. Он видел себя бросающим призыв к священной войне, там, на границах Марокко, вечно алых от пожаров и битв. Вот он на улицах города Алжира во главе своего гума — они грабят евреев, убивают христиан, и он сам гибнет в этой страшной схватке, хороня вместе с собой и свой позор. Все казалось ему возможным, но только не это бесславное возвращение... Вдруг среди этих планов мщения мысль об имберадоре как молния сверкнула в его сознании.

Имберадор!.. Для Си-Слимана, как для всякого араба, идея справедливости и могущества воплотилась в этом одном магическом слове. В глазах мусульман эпохи упадка это был подлинный защитник правоверных; а тот, другой, что в Стамбуле, издалека казался им существом отвлеченным, чем-то вроде незримого папы, сохранившего только духовную власть. А в наш век всем известно, чего стоит эта духовная власть...

Но имберадор с его огромными пушками, зуавами и железным флотом!.. При мысли о нем Си-Слиман почувствовал себя спасенным. Без сомнения имберадор вернет ему крест. Дело несложное — всего восемь дней пути. Он так верил в свой счастливый план, что решил оставить свою свиту дожидаться его у ворот города. На следующий день пакетбот уносил его по направлению к Парижу, и был он так сосредоточен и безмятежен, как будто совершал паломничество в Мекку.

Бедный Си-Слиман! Прошло четыре месяца, как он уехал, а в письмах к женам еще и речи нет о его возвращении. В продолжение четырех месяцем обезумевший, несчастный ага чувствовал себя затерянным среди парижских туманов, проводя дни в беготне по министерствам. Всюду осмеянный и как бы втянутый в ужасную систему зубчатых колес французской бюрократической машины, он метался из одного учреждения в другое, пачкал свой белый бурнус на деревянных скамьях в министерских прихожих в тщетном ожидании высокой аудиенции. По вечерам его можно было видеть в конторе меблированных комнат, когда он, печальный и осунувшийся, величественно смешной, приходил туда за ключом. Он подымался к себе, усталый от беготни и хлопот, но всегда гордый, не теряющий своего величавого вида. Цепляясь за надежду, он ожесточался, как разорившийся игрок, в погоне за утраченной честью...

А в это время его конница, расположившись у ворот Баб-Азуна, с восточным фатализмом ожидала своего начальника. Неподвижные стреноженные кони ржали на берегу моря. А во владениях аги вся жизнь замерла. Не хватало рабочих рук, и урожай погибал на полях. Женщины и дети, обратя свой взор в сторону Парижа, считали дни и часы... Сколько тревог, неосуществленных надежд и гибельных последствий повлек за собой этот лоскуток красной ленты! И когда все это кончится?

— Один Бог знает, — со вздохом закончил старый кабил, и сквозь полуоткрытую дверь его обнаженная рука указала на тонкий серп бледной луны, поднимавшейся на влажном небе над печальной долиной, погруженной в лиловый сумрак.